



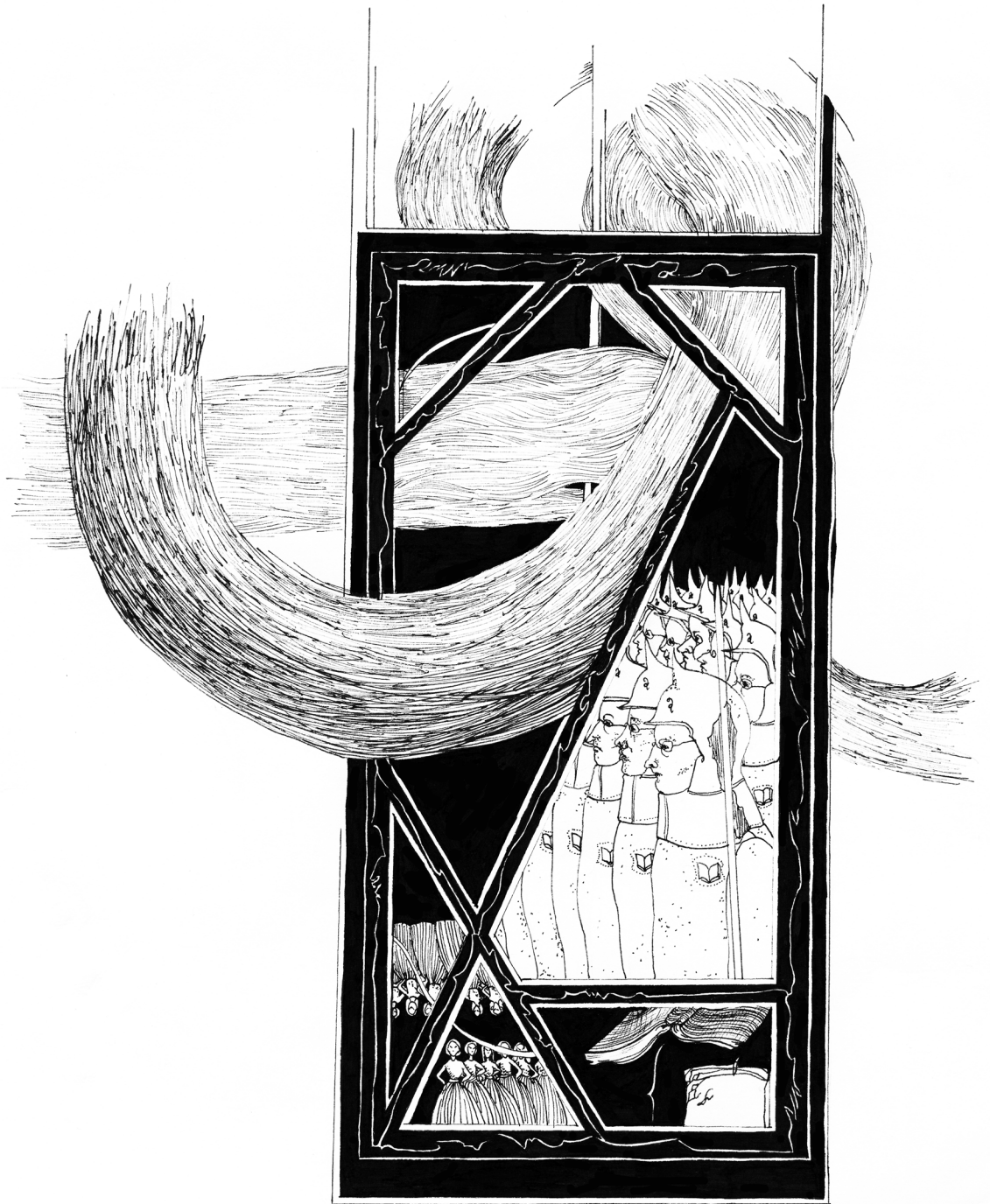
**РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗНАНИЯ.
ВОПРОС НАУКИ В ФЕМИНИЗМЕ
И ПРЕИМУЩЕСТВО
ЧАСТИЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ**

Донна Харауэй

Автор: Донна Харауэй
Текст был впервые опубликован
на английском языке в журнале
Feminist Studies 14.03 (осень 1988)
Иллюстрации: Катя Хасина
Перевод: Сергей Бабкин
Редактура: Александра Талавер
Корректура: Лилия Катренко
Верстка: Евгения Азарян



кадемические и активистские феминистские исследования не раз пытались разобраться с вопросом, что же мы можем иметь в виду под любопытным и неизбежным термином «объективность». Много ядовитых чернил было пролито и много деревьев переработали в бумагу в нашем возмущении по поводу того, что они имели в виду и какой вред это нам нанесло. Воображаемые «они» представляют собой что-то вроде невидимого заговора противящихся женскому равноправию ученых и философов, обеспеченных грантами и лабораториями. Воображаемые «мы» — это воплощенные (embodied) другие, кому не позволено не иметь тела, конечную точку зрения, что приводит к неизбежно дисквалифицирующей и замутняющей предвзятости в любом обсуждении последствий за пределами наших собственных маленьких кругов, то есть в журналах с «массовой» подпиской, тысячи читателей которых состоят в основном из ненавистников науки. По крайней мере, я вынуждена признаться в этих параноидальных фантазиях и обидах на академический мир, которые проникают в некоторые витиеватые размышления, опубликованные под моим именем в феминистской литературе по истории и философии науки. Мы, феминистки, которые участвуют в дебатах о науке и технологии, — для рейгановской эпохи — «группы особых интересов» на бедной земле эпистемологии, где то, что может считаться знанием, традиционно находится под надзором философов, составляющих кодексы когнитивного канонического права. Конечно, группа особых интересов, по рейгановскому определению, — это любой коллективный исторический субъект, который смеет противостоять упрощенному атомизму «Звездных войн», гипермаркета, постмодерна, медиа симулированного гражданства. У Макса Хедрума нет тела; следовательно, он один видит все в принадлежащей великому коммуникатору империи Глобальной Сети. Неудивительно, что у Макса наивное чувство юмора и что-то вроде благополучно регрессивной, преэдиальной сексуальности, которую мы двойко (и так опасно ошибаясь) представляли как отведенную пожизненно заключенным в женских и колонизированных телах, а также, возможно, белым мужчинам-хакерам в одиночных электронных камерах.



Мне кажется, феминистски одновременно выборочно и гибко использовали два полюса соблазнительной дихотомии в вопросе об объективности — и попали в их ловушку. Конечно, здесь я говорю о себе, и я предлагаю спекуляцию, что существует коллективный дискурс вокруг этих проблем. Последние социальные исследования науки и технологии, например, предложили очень сильный социально-конструктивистский аргумент по поводу всех форм притязаний на знание, и безусловно, — и особенно, — научных¹. Согласно этим соблазнительным взглядам, точка зрения изнутри никогда не обладает преимуществом, поскольку все обозначения границ внутреннего и внешнего в вопросе знания понимаются как движения к власти, а не к истине. Так, с точки зрения сильного социального конструктивизма зачем нам подпадать под влияние того, как ученые описывают свои деятельность и достижения; и они, и их патроны заинтересованы в том, чтобы пускать нам пыль в глаза. Они рассказывают притчи об объективности и научном методе студентам в первые годы их посвящения, но ни одного практика высокого искусства науки не застукать за действиями «по учебнику». Социальные конструктивисты дают понять, что официальные идеологии по поводу объективности и научного метода особенно плохи в объяснении того, как действительно делается научное знание. Ученые, как и все мы, верят или говорят, что верят в одно, а в итоге делают совсем другое.

Единственные, кто в итоге действительно верит в идеологические доктрины развоплощенной научной объективности и — богиня упаси! — действует согласно им, освященным в учебниках начального уровня и популярной технонаучной литературе, — это неученые, включая какое-то количество очень доверчивых философов. Конечно, мое указание на последнюю группу, вероятно, лишь рефлексия по поводу остаточного дисциплинарного шовинизма, приобретенного вследствие отождествления с историками науки и чрезмерно долгого времени, проведенного в юности с микроскопом в чем-то вроде дисциплинарно преэдипального и модернистского поэтического момента, когда клетки, казалось, были клетками, а организмы — организмами. Тише, Гертруда Стайн. Но настало время закона отца и его разрешения проблемы объективности, всегда осуществляемого уже отсутствующими референтами, отсроченными означаемыми, расщепленными субъектами и бесконечной игрой означающих. Ну и кого бы это не сломало? Гендер, раса, сам мир — все кажется эффектами сверхскоростной игры означающих на космическом силовом поле.

В любом случае социальные конструктивисты могут настаивать, что идеологическая доктрина научного метода и вся философская болтовня об эпистемологии были созданы, чтобы отвлечь наше внимание от эффективного познания мира путем научной практики. С этой точки зрения наука — единственное, что стоит внимания, — это риторика, последовательность попыток убедить релевантных социальных акторов, что произведенное кем-то знание — это путь к желанной форме вполне объективной власти. Эти увещания должны принимать во внимание структуру фактов и артефактов, а также опосредованных языком акторов в игре знания. Здесь артефакты и факты составляют часть впечатляющего риторического искусства. Практика — это убеждение, а внимание концентрируется на практике. Все знание — это густой узел в агонистическом силовом поле. Сильная программа социологии знания

вступает в союз с милыми и не очень инструментами семиологии и деконструкции, настаивая на риторической природе истины, включая научную. История — это басня, которую рассказывают друг другу знатоки западной культуры; наука — это оспариваемый текст и силовое поле; содержание — это форма². И точка.

Ну вот и все — для тех из нас, кто еще хотел бы поговорить о реальности с большей уверенностью, чем та, которую мы позволяем правым христианам, когда они обсуждают второе пришествие и их спасение от окончательного разрушения мира. Хотелось бы думать, что наши обращения к настоящим мирам — это что-то большее, чем отчаянная попытка увернуться от цинизма и акт веры, такой же, как и у любого другого культа, вне зависимости от того, сколько пространства мы щедро отдаем всем насыщенным и исторически специфичным медиациям, через которые мы и все остальные должны познать мир. Но чем дальше я описываю радикальную социально конструктивистскую программу и специфичную версию постмодернизма с использованием едких инструментов критического дискурса в гуманитарных науках, тем больше я нервничаю. Образы силовых полей, движения в полностью текстуализованном и кодированном мире, которые являются рабочей метафорой во многих спорах о социальном характере договоренности по поводу реальности для постмодерного субъекта, — на самом деле, и это только для затравки, — образы высокотехнологичных военных сфер, автоматизированных академических полей боя, где вспышки света, которые называют игроками, разрушают друг друга (ну и метафора!), чтобы не выйти из игры знания и власти. Технонаука и научная фантастика коллапсируют в солнце своей лучезарной (не)реальности — войны³. Чтобы понять, кто тут враг, не нужны десятилетия феминистской теории. Нэнси Хартсок все кристально ясно объяснила с помощью своего концепта абстрактной маскулинности⁴.



Я, как и другие, начала с желания обладать действенным инструментом для деконструкции претензий враждебной науки на истину, показывая радикальную историческую специфичность, а значит, и оспариваемость каждого слоя луковицы научных и технологических конструкций, а закончили мы чем-то вроде эпистемологической электрошоковой терапии, которая не приблизила нас к игровым столам, на которых делают высокие ставки в оспаривании общественных истин, а выложила на такой стол нас самих — с самоиндуцированным диссоциативным расстройством личности. Мы хотели найти возможность преодолеть демонстрацию предвзятости в науке (что в любом случае оказалось слишком легкой задачей, как и разделение добрых овец науки от дурных козлов предвзятости и злоупотреблений). Казалось многообещающим делать это с помощью сильнейшего из возможных конструктивистских аргументов, который уверенно сводил проблему к противопоставлению предвзятости и объективности, употребления и злоупотребления, науки и псевдонауки. Мы разоблачали доктрины объективности, потому что они угрожали нашему зарождающемуся чувству коллективной исторической субъектности и агентности и нашим «воплощенным» описаниям истины, а пришло все к еще одному поводу не учить никакую постньютоновскую физику и еще одной причине отказаться от старых феминистских практик самопомощи в ремонте наших собственных автомобилей. Это все равно просто тексты, так что верните их мальчишкам.

Некоторые из нас пытались сохранить рассудок в эти времена разборок и притворств, настаивая на феминистской версии объективности. Это другая соблазнительная сторона проблемы объективности, мотивированная во многом теми же политическими желаниями. Гуманистический марксизм у своих истоков был заражен своей структурирующей теорией о преобладании природы в самоконструировании человека и тесно связанным с ней бессилием в отношении историзации всего, что делали женщины, не получая заработной платы. Но марксизм все равно был многообещающим ресурсом в качестве чего-то вроде эпистемологической феминистской ментальной гигиены, которая искала наши собственные доктрины объективного взгляда. Марксистские исходные позиции предложили путь к нашим собственным версиям теорий о точке зрения, настойчивом воплощении, богатой традиции критики гегемонии без обесценивания позитивизмов и релятивизмов и способу производить изящные теории медиации. Этому подходу помогли и некоторые версии психоанализа, особенно англофонная теория объектных отношений, которая, вероятно, когда-то дала американскому социалистическому феминизму больше, чем все, что вышло из-под пера Маркса или Энгельса, а тем более Альтюссера или любого из поздних претендентов на их наследство, которые изучали вопрос субъекта идеологии и науки⁵.

Другой подход, «феминистский эмпирицизм», также сближается с феминистским употреблением марксистских ресурсов с целью произвести теорию науки, которая продолжает настаивать на легитимных значениях объективности и настороженно относится к радикальному конструктивизму, сопряженному с семиологией и нарратологией⁶. Феминисткам необходимо настаивать на том, что их описание мира лучше; недостаточно лишь показывать радикальную историческую контин-

гентность и способы конструирования всего. Здесь мы, феминистки, обнаруживаем себя извращенно связанными с дискурсом многих практикующих ученых, которые, в конце концов, в основном верят в то, что они описывают и открывают вещи с помощью конструирования и аргументации. Эвелин Фокс Келлер особенно настаивала на внимании к этому фундаментальному вопросу, а Сандра Хардинг говорит, что цель таких подходов — создание «науки-преемницы». Феминистки заинтересованы в проекте науки-преемницы, которая предлагает более адекватное, насыщенное и точное описание мира, созданное для достижения хорошей жизни в этом мире, и в критическом, рефлексивном отношении к нашим собственным, а также другим практикам господства и неравноценным соотношениям привилегии и угнетения, которые и конституируют любую позицию. Если использовать традиционные философские категории, то проблема заключена скорее в этике и политике, чем в эпистемологии.

Так что я думаю, что моя и «наша» проблема состоит в том, чтобы временно держаться описания радикальной исторической контингентности всех претензий на знание и познающих субъектов, критической практики определения наших собственных «семиотических технологий» создания смыслов, а также строгого следования заслуживающим доверия описаниям «реального» мира, которые можно разделить на составляющие части и которые ориентированы на всемирные проекты конечной свободы, посильного материального изобилия, умеренной необходимости в страданиях и ограниченного счастья. Хардинг называет это необходимо множественное желание потребностью в науке-преемнице и постмодернистским настоянием на нередуцируемом различии и радикальной множественности локальных знаний. Все компоненты этого желания парадоксальны и опасны, а их сочетание одновременно противоречиво и необходимо. Феминисткам не нужны доктрина объективности, которая обещает трансцендентность, история, которая теряет из виду то, как медируется прямо тогда, когда кто-то оказывается за что-то ответственным, и безграничная инструментальная власть. Нам не нужна теория наивной власти, позволяющая изображать мир, в котором язык и тела обнаруживают себя в блаженстве органического симбиоза. Мы также не хотим теоретизировать мир, а тем более действовать внутри него, в терминах глобальных систем, но нам необходима всемирная сеть связей, включающая способность частичного перевода знаний между очень разнообразными и по-разному привилегированными сообществами. Нам нужна сила современных критических теорий того, как создаются смыслы и тела, но не чтобы отрицать и те, и другие, а чтобы создавать их жизнеспособными.

Надежды об этом всегда тешили в естественных, общественных и гуманитарных науках. Наука все еще ищет переводимости, обратимости, мобильности смыслов и универсальности — которую я называю редукционизмом, только когда один (угадайте чей?) язык навязывается как единый стандарт для всех переводов и обращений. Редукционизм во властных ментальных режимах глобальных наук играет ту же роль, что и деньги — в режимах обмена в капитализме. В итоге мы приходим к единственной формуле. Это смертельно опасная фантазия, которую феминистки и другие

исследовательницы обнаружили в некоторых версиях объективности, которые служат иерархичным и позитивистским порядкам определения того, что может считаться знанием. Это одна из причин, почему дебаты об объективности имеют значение — метафорически и не только. Бессмертие и всеисие — не наши цели. Но мы бы могли найти применение некоторым осуществимым, надежным описаниям вещей, не сводимым к властным отношениям и агонистическим, высокостатусным риторическим играм или к научному и позитивистскому высокомерию. Это справедливо и в отношении высказываний о генах, социальных классах, элементарных частицах, гендерах, расах или текстах; и в отношении точных, естественных, общественных и гуманитарных наук, несмотря на то что легко поскользнуться о неоднозначность слов «объективность» и «наука», рассекая по этому дискурсивному ландшафту. Пока я и другие феминистски в дебатах по поводу объективности пытались взобраться по этому смазанному шесту, который ведет к пригодной доктрине объективности, мы попеременно, или даже одновременно, держались за оба конца этой дихотомии, которую Хардинг описывает в терминах противостояния проектов «наук-преемниц» и постмодернистских описаний различия и которую я в этом эссе обрисовала как противостояние радикального конструктивизма и феминистского критического эмпирицизма. Сложно взбираться, когда держишься сразу за оба конца шеста, одновременно или попеременно. Так что настало время других метафор.



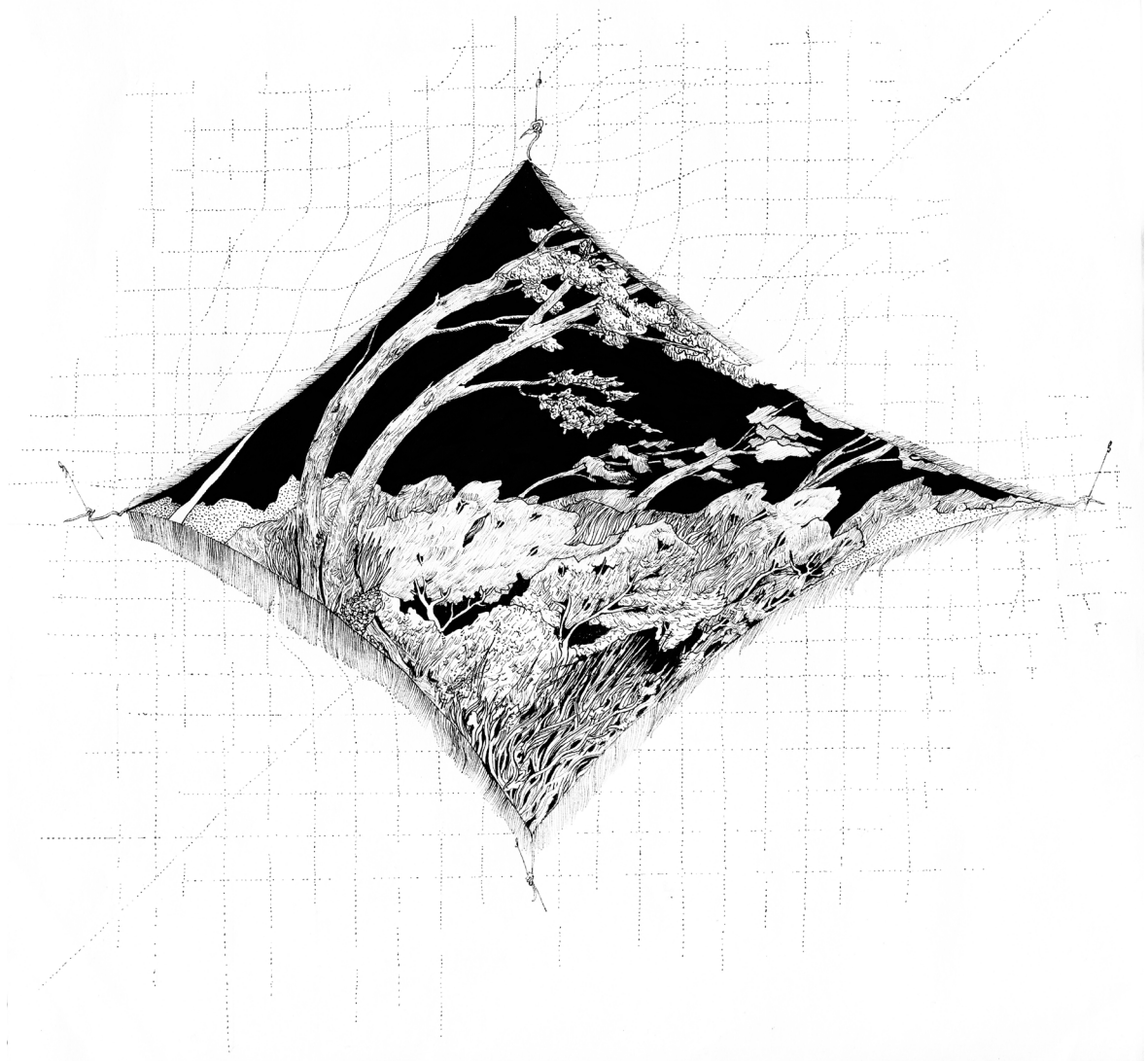
АВЯЗЧИВОСТЬ ЗРЕНИЯ

Я бы хотела в качестве метафоры обратиться к чувственной системе, оклеветанной в феминистском дискурсе, — зрению⁷. Зрение может помочь избежать бинарных оппозиций. Я бы хотела сделать упор на воплощенной природе любого зрения и таким образом вернуться к чувственной системе, которую использовали, чтобы обозначить выход за пределы меченого тела во взгляд-завоеватель из ниоткуда. Это взгляд, который мифическим образом запечатлевается на всех меченых телах, который позволяет немеченой категории притязать на власть видеть, но не быть видимым, репрезентировать, но избегать репрезентации. Этот взгляд означает немеченые позиции Мужчины и Белого, это одна из многих противных для феминистского слуха интонаций, с которыми произносится слово «объективность» в научных и технологических, позднеиндустриальных, милитаризованных, расистских обществах, в которых доминируют мужчины, то есть здесь, в чреве чудовища, в Соединенных Штатах конца 1980-х. Я желаю доктрины воплощенной объективности, которая вмещает парадоксальные и критические феминистские научные проекты: проще говоря, феминистская объективность — это расположенные знания.

Глаза использовались для обозначения пагубной способности — отточенной до совершенства в истории науки, связанной с милитаризмом, капитализмом, колониализмом и господством мужчин, — создавать дистанцию между познающим субъектом и всеми и всем в интересах нестесненной ничем власти. Инструменты визуализации в мультинациональной, постмодернистской культуре усугубили эти значения развоплощения. У технологий визуализации нет очевидного предела. Глаза обычных приматов вроде нас можно бесконечно дополнять системами сонографии, визуализацией магнитного резонанса, использующими искусственный интеллект, графическими системами манипуляции, растровыми электронными микроскопами, сканерами компьютерной томографии, технологиями усиления цвета, системами спутниковой слежки, домашними и офисными терминалами с видеоэкранами, камерами для любой цели от съемки слизистой мембраны, выстилающей желудочно-кишечные полости морского червя, живущего в газовых источниках на разломах

континентальных плит, до картирования полушарий планет где-то в Солнечной системе. Зрение в этом торжестве технологий становится неконтролируемым чревоугодием; кажется, что все это — не просто мифическая божественная уловка видеть все из ниоткуда, но применение мифа в каждодневной практике. И как подобает божественной уловке, этот глаз трахает мир, чтобы породить техномонстров. Зои Софулис описывает его как глаз-каннибал маскулинистских внеземных проектов экскрементального второго рождения.

Дань этой идеологии прямого, пожирающего, порождающего и неограниченного зрения, технологические медиации которого одновременно восхваляются и подаются как совершенно прозрачные, можно найти в номере [National Geographic] в честь 100-летия Национального географического общества. Обзор литературы о путешествиях из этого журнала, который сопровождается поразительными фотографиями, завершается двумя сопоставленными друг с другом главами. Первая из них, о «Космосе», начинается с эпиграфа «Выбор таков: либо вселенная, либо — ничто»⁸. В этой главе излагаются подвиги космической гонки и напечатаны — с улучшенными цветами — «снимки» внешних планет, пересобранные из оцифрованных сигналов, переданных через огромное пространство, чтобы дать зрителю «испытать» момент открытия через непосредственный взгляд на «объект»⁹. Эти восхитительные объекты представлены нам как одновременно не подверженные сомнениям записи того, что там [курсив мой. — Примеч. пер.] находится и как героические достижения технонаучного производства. Следующая глава посвящена близнецу открытого космоса: это «Внутренний космос», и начинается она с эпиграфа «Звездная материя ожила»¹⁰. В ней читателя отправляют на территории бесконечного малого, овеществленного с помощью излучения с длиной волны, отличной от той, которую приматы-гоминиды «обычно» воспринимают, то есть с помощью лазерных лучей и растровых электронных микроскопов, сигналы которых перерабатываются в чудесные полноцветные снимки защищающих организм Т-клеток и атакующих его вирусов.



Но, конечно, этот взгляд на бесконечное зрение — иллюзия, божественная уловка. Я бы хотела указать на то, что наше осуществляемое с помощью метафор утверждение частичности и воплощенности всего зрения (хоть речь и необязательно об органическом воплощении, но и технологической медиации) и отказ от доверия соблазнительным мифам о зрении как пути к развоплощению и второму рождению позволяют нам сконструировать практичную, но не наивную, доктрину объективности. Я желаю феминистского письма о теле, которое вновь метафорически делает акцент на зрении, поскольку нам нужно вернуть себе это чувство, чтобы найти собственный путь сквозь все эти визуальные уловки и силы современных наук и технологий, что трансформировали дебаты об объективности. Нам нужно учиться через наши собственные тела, одаренные способностью к распознаванию цветов, свойственной приматам, и стереоскопическим зрением, как прикрепить объективность к нашим теоретическими и политическими сканерами, чтобы назвать места, где мы есть, а где нас нет, в измерениях ментального и физического пространства, названия которых мы едва ли знаем. И вот, что уже не так уж и извращенно, оказывается, что объективность — это о частичных и специфичных воплощениях, и уж точно не о фальшивом зрении, которое обещает преодоления ограничений и ответственности. Мораль проста: только частичная перспектива дает обещание объективного зрения. Все западные культурные нарративы об объективности — это аллегории идеологий, управляющих отношениями того, что мы называем разумом и телом, дистанцией и ответственностью. Феминистская объективность заключена в ограниченном местоположении и расположенном знании, а никак не в трансценденции и расщеплении субъекта и объекта. Она позволяет нам стать ответственными за то, что мы учимся видеть.

Эти уроки я получила отчасти благодаря прогулкам с моими собаками и размышлениям, как выглядит мир, если у тебя нет центральной ямки сетчатки глаза и нескольких ретинальных клеток, отвечающих за цветное зрение, но есть мощные нейронная обработка и сенсорная зона запахов. Это урок, преподанный фотографиями, которые показывают, как выглядит мир через фасеточные глаза насекомого или даже через камеру-глаз спутника-шпиона, или переданные цифровым способом сигналы космического зонда, воспринимающего возмущения «около» Юпитера, превратившиеся в цветные фотографии в альбомах, которые кладут на журнальные столики. «Глаза», доступ к которым получен в современных технологических науках, разрушают все представления о пассивном зрении; эти протезы показывают нам, что все глаза, включая наши собственные, органические, — это активные системы восприятия, основанные на переводах и специфических способах видения, иначе говоря, способах жить. В научных описаниях тел и машин нет немедиированных фотографий или пассивных камер-обскур; есть только крайне специфичные возможности визуализации, у каждой из которых невероятно точный, активный и частичный способ организации миров. Все эти изображения мира должны служить аллегориями не бесконечной мобильности и взаимозаменяемости, но специфичности и различия, любовной заботы, которую люди могут проявить, учась видеть мир правдоподобно с другой точки зрения, даже если она принадлежит созданной нами же машине. Это не отчуждающая дистанция; это возможная аллегория феминистской версии

объективности. Понимание того, как визуальные системы работают в техническом, социальном и физическом аспектах, должно стать путем воплощения феминистской объективности.

Многие направления феминизма пытались теоретизировать основания исключительного доверия к точкам зрения угнетенных; есть все основания полагать, что зрение лучше у тех, кто находится ниже сверкающих космических платформ власть предержащих¹¹. Основываясь на этом подозрении, это эссе является доводом в пользу расположенных и воплощенных знаний и против различных претензий на знание, местоположение которых нельзя определить, что делает их безответственными. Безответственность здесь означает невозможность быть привлеченным к объяснениям. Важно обнаружить возможность видеть с периферий и из глубин. Но в притязаниях на видение с позиций менее сильных есть и серьезная опасность романтизации и/или апроприации их зрения. Видеть снизу не так-то просто научиться, тем более не беспроблемно, даже если «мы» «естественным образом» населяем великий подземный ландшафт угнетенных знаний. Нахождения позиций угнетенных не должны быть освобождены от критического переосмысления, декодирования, деконструкции и интерпретации, то есть использования в их отношении одновременно семиологического и герменевтического режимов критического исследования. Позиции (standpoints) угнетенных — это не «наивные» позиции. Напротив, им отдается предпочтение, потому что они принципиально менее расположены к отрицанию критического и интерпретационного основания всего знания. Им известно, как режимы отри-

дания действуют через акты репрессий, забвения и стирания, то есть способы быть нигде с претензией на исчерпывающую способность видеть. У угнетенных есть все шансы раскусить божественную уловку с ее головокружительными, а следовательно, ослепительными озарениями. «Угнетенным» позициям (standpoints) нужно отдать предпочтение, потому что они обещают более адекватные, последовательные, объективные, способные к трансформации описания мира. Но вопрос того, как видеть снизу, — это задача, требующая как минимум столько же навыков в обращении с телами и языком, с медиациями зрения, сколько и «наивысшие» технонаучные визуализации.

Подобные предпочитаемые находения позиций настолько же враждебны различным формам релятивизма, насколько и наиболее выраженным тотализующим вариантам притязания на научный авторитет. Но альтернатива релятивизму — это не тотализация и единое видение, которое всегда в итоге оказывается немеченой категорией, власть которой зависит от систематических сужений и скрытия. Альтернатива релятивизму — это частичные, способные к собственной локализации, критические знания, обеспечивающие возможности таких паутин связей, как солидарность в политике, и совместных обсуждений в эпистемологии. Релятивизм — это способ находиться нигде, но с претензией на равномерное нахождение везде. «Равенство» позиций — это отказ от ответственности и критического исследования. Релятивизм — брат-близнец тотализации в идеологиях объективности; оба отрицают интерес к местонахождению, воплощению и частичной перспективе; оба не позволяют хорошо видеть. И релятивизм, и тотализация — это «божественные уловки», которые обещают взгляд в равной степени и полностью — из отовсюду и из ниоткуда, обыкновенные мифы в риторике вокруг Науки. Но возможность последовательного, рационального и объективного познания лежит именно в политике и эпистемологии частичных перспектив.



Вместе со многими другими феминистками я выступаю за доктрину и практику объективности, которые отдают предпочтение оспариваемости, деконструкции, исполненному энтузиазму созданию, сетевым связям и надежде на трансформацию систем знания и способов видения. Но для этой задачи подойдет не всякая частичная перспектива; мы должны противодействовать простым релятивизмам и холизмам, построенным на сложении и вычитании частей. «Страстная беспристрастность»¹² требует больше, чем признание частичности и ее самокритика. Мы также обязаны искать перспективы с таких точек зрения, которые нельзя предугадать заранее, которые обещают нечто необычайное, то есть знание, способное создавать миры, в меньшей степени организованные системами координат господства. С такой точки зрения немеченая категория действительно бы исчезла, что вполне себе отличается от простого повторения акта исчезновения. Воображаемое и рациональное, мечтательное и объективное зрения не так уж и далеки друг от друга. Я думаю, что призыв Хардинг к науке-преемнице и постмодернистской чувствительности нужно понимать как выступление за идею, согласно которой фантастический элемент надежды на трансформацию знания, строгие стандарты последовательного критического исследования и побуждение к нему вместе являются основанием любого правдоподобного притязания на объективность или рациональность, не зараженных захватывающими дух отрицаниями и репрессиями. В контексте этой феминистской доктрины рациональности и объективности можно даже прочесть историю научных революций. Наука была утопической и мечтательной с само-

го своего начала; и в том числе поэтому «нам» она нужна.

Приверженность мобильности в нахождении позиций и страстной беспристрастности полагается на невозможность рассматривать наивную политику и эпистемологию «идентичности» как стратегии видения с позиций (standpoint) угнетенных ради прояснения зрения. Нельзя «быть» ни клеткой, ни молекулой — или женщиной, колонизированной персоной, трудящимся и т. д., — если вы намерены видеть, а к тому же видеть с этих позиций — и критически. «Бытование» гораздо более проблематично и неопределенно. К тому же нельзя изменить свое положение на любую возможную точку зрения без объяснения такого движения. Зрение всегда включает в себя проблему власти видеть, а также, вероятно, и насилия, имплицитного нашим практикам визуализации. Чьими страданиями сделаны мои глаза? Все это относится и к заявлениям с позиции «самого себя». У нас нет прямого доступа к самим себе. Знание о себе требует семиотико-материальных технологий, которые связывают смыслы и тела. Самоидентификация — дурная визуальная система. Смешение — дурная стратегия нахождения позиции. Мальчишки из гуманитарных наук назвали это сомнение в доступе к самости «смертью субъекта», определенного как единственная точка структурирования воли и сознания. Такое заявление кажется мне странным. Я предпочитаю называть это сомнение открытием неизоморфных субъектов, агентов и территорий историй, невообразимых с точки зрения циклопического, самоудовлетворенного глаза субъекта-хозяина. Западный глаз всегда был глазом блуждающим, путешествующей линзой. Его странствования часто были жестокими и требовали зеркал, способных отразить субъекта-завоевателя, но не всегда. Западные феминистки тоже унаследовали некоторые навыки в ревизуализации миров, поставленных с ног на голову в их меняющихся планеты вызовах, брошенных взглядам хозяев. Нельзя все делать с чистого листа.



опрошать о нахождении позиций и нести ответственность может именно расщепленный и противоречивый субъект, который может создавать рациональные дискуссии и фантазийные грезы, меняющие историю, или же присоединяться к ним¹³. Расщепление, а не бытование, является предпочтительным образом для феминистских эпистемологий научного знания. «Расщепление» в этом контексте относится к гетерогенным многообразиям, одновременно явно выраженным и не поддающимся подгонке под изоморфные пазы или кумулятивные списки. Этой геометрией описываются как сами субъекты, так и отношения между ними. Субъектность многомерна, а значит, и зрение. Познающий субъект частичен во всех своих личинах, никогда не завершен, не целостен, не непосредственно предъявлен и не оригинален; он всегда конструируется и сшивается неидеально, а следовательно, способен соединиться с другим таким субъектом, чтобы видеть вместе, но не претендовать на то, чтобы быть другим. Здесь и лежит обещание объективности: познающий науку ищет положение субъекта не через идентичность, а через объективность, то есть частичную связь. Нет способа «быть» одновременно во всех предпочтительных (то есть угнетенных) позициях, структурированных гендером, расой, национальностью или классом, или же полностью — в каком-либо из них. И это лишь краткий список критических положений. Поиск такого «полного» и тотального положения — это поиск фетишизированного идеального субъекта альтернативной истории, который в феминистской теории иногда является в виде эссенциализированной Женщины Третьего мира¹⁴. Угнетение — не основание для онтологии; возможно, оно является визуальной подсказкой. Зрение требует своих инструментов; оптика — это политика нахождения позиций. Эти инструменты медируют позиции (standpoints); непосредственное видение с позиций (standpoint) угнетенных невозможно. Идентичность, включая самоидентичность, не производит науку; это делает критическое нахождение позиций, то есть объективность. Лишь те, кто занимает господствующие положения, являются идентичными самим себе, немечеными, развоплощенными, немедированными, трансцендирующими, заново рожденными. К сожалению, угнетенный может желать такого положения субъекта или даже бороться за него, а затем исчезнуть из виду. Знание с точки зрения немеченых — действительно неправдоподобное, искаженное и иррациональное. Единственное положение, из которого не может практиковаться и соблюдаться объективность, — это позиция (standpoint) хозяина, Мужчины, Единого Бога, чей Глаз производит, апроприирует и упорядочивает все различия. Никто никогда не обвинял Бога монотеизма в объективности, лишь в безразличии. Божественная уловка идентична самой себе, а мы считали ее творчеством и знанием, даже всезнанием (курсив мой. — примеч. пер.).

Следовательно, нахождение позиций — ключевая практика, обосновывающая знание, организованное вокруг образности зрения, а так организована значительная часть западного научного и философского дискурса. Нахождение позиций подразумевает ответственность за наши уполномочивающие практики. Получается, что политика и этика обосновывают борьбу и споры по поводу того, что может считаться рациональным знанием. То есть так или иначе политика и этика обосновывают борьбу за проекты познания в точных, естественных, общественных и гуманитарных науках. Иначе рациональность просто-напросто невозможна, она оказывается оптической иллюзией, спроецированная в полном объеме из ниоткуда. Истории науки можно убедительно рассказать как истории технологий. Эти технологии — образы жизни, общественные порядки, практики визуализации. Технологии — это требующие навыков практики. Как видеть? Откуда? Каковы пределы зрения? Зачем видеть? С кем? Кому достается более одной точки зрения? Кто ослеплен? Чей взгляд зашорен? Кто интерпретирует визуальное поле? Какие еще чувства мы хотим развить, помимо зрения? Моральный и политический дискурс должен быть парадигмой рационального дискурса об образности и технологиях зрения. Заявление (или наблюдение) Сандры Хардинг, что социальные революции сделали наибольший вклад в развитие науки, можно понять как претензию на то, что новые технологии нахождения позиций оказывают влияние на знание. Но лучше бы Хардинг больше сосредоточилась на том, что социальные и научные революции не всегда были освободительными, даже при том, что они всегда подразумевали визионерство. Возможно, этот аспект можно обозначить другими словами: научный вопрос в военном деле. Борьба за то, что будет считаться рациональным описанием мира, — это борьба за то, как видеть. Условия зрения: вопрос науки в колониализме, вопрос науки в экстерминизме¹⁵, вопрос науки в феминизме.

Предметом политически ангажированной критики различных эмпирицизмов, редукционизмов или других версий организации научного авторитета должен быть не релятивизм, а местоположение. Эту мысль можно развить в такой таблице с двумя столбиками:

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	ЭТНОФИЛОСОФИИ
ОБЩИЙ ЯЗЫК	ГЕТЕРОГЛОССИЯ
НОВЫЙ ОРГАНОН	ДЕКОНСТРУКЦИЯ
ТЕОРИЯ ЕДИНОГО ПОЛЯ	НАХОЖДЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ЧЕРЕЗ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
МИРОВАЯ СИСТЕМА	ЛОКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
МАСТЕР-ТЕОРИЯ	СЕТЬ ОПИСАНИЙ

Но такая таблица совершенно неправильно показывает положения воплощенной объективности, которые я пытаюсь обрисовать. Основное искажение — это иллюзия симметрии между двумя столбцами таблицы, из-за которой кажется, что каждая позиция в ней, во-первых, альтернативна противоположной, а во-вторых, что они взаимоисключающие. Карта напряжений и резонирований между зафиксированными полюсами предъявленной дихотомии лучше описывает потенциальные политики и эпистемологии воплощенной, а значит, подотчетной, объективности. Например, должно присутствовать напряжение в том числе между локальными знаниями и продуктивными структурированиями, которые приводят к неравномерным переводам и обменов в сетях знания и власти — как материальным, так и семиотическим.

Сети могут быть систематичными, даже центрально-структурированными глобальными системами с глубокими нитями и цепкими усиками, проникающими во время, пространство и сознания, которые являются измерениями всемирной истории. Подотчетность, понятая по-феминистски, требует настройки знания на резонирование, а не дихотомии. Гендер — это поле структурных и структурирующих различий, в котором тональность экстремальной локализации или глубоко персонального и индивидуализированного тела колеблется в том же поле, что и глобальные высоковольтные выбросы. Значит, феминистское воплощение — это не о фиксированной локации в окаменелом теле, женском или же другом, но об узлах в полях, склонностях в ориентациях и ответственности за различия в материально-знаковых смысловых полях. Воплощение — это мощный протез; объективность не может быть фиксированным видением, когда то, что считается объектом, — это именно то, вокруг чего, оказывается, строится всемирная история.

Как нужно расположить себя, чтобы иметь способность видеть в ситуации напряжений, резонирования, трансформаций, сопротивлений и сопричастностей? В этой ситуации зрение примата сложно сразу назвать очень уж действенной метафорой или технологией для прояснений в терминах феминистской политики и эпистемологии, поскольку кажется, будто оно предоставляет сознанию уже обработанные и объективированные поля; вещи кажутся уже зафиксированными и размещенными на расстоянии. Но метафора зрения помогает преодолеть зафиксированные образы, которые являются лишь конечными продуктами. Метафора приглашает нас к исследованию различных аппаратов производства визуального, включая технологии-протезы, сплетенные с нашими биологическими глазами и мозгами. Тут-то мы и найдем невероятно детализированные машинерии превращения участков электромагнитного спектра в изображения, через которые мы видим мир. Именно в премудростях этих технологий визуализации, в которые мы встроены, мы и найдем метафоры и средства для понимания паттернов объективации в мире, то есть паттернов реальности, за которые мы должны быть подотчетными, — и там же мы найдем средства вмешательства в них. С помощью этих метафор мы находим средства обращения одновременно и к конкретному, «реальному» аспекту, и к аспекту процессов означивания и производства в том, что мы называем научным знанием.

Я выступаю за политики и эпистемологии локации, нахождения позиций и расположения, где частичность, а не универсальность, является условием возможности быть услышанным в производстве притязаний на рациональное знание. Это притязания на человеческие жизни. Я выступаю за взгляд из тела, всегда сложного, противоречивого, структурирующего и структурируемого тела, в противоположность взгляду сверху, из ниоткуда, из простоты. Запрещена лишь божественная уловка. Это критерий для принятия решений по поводу вопроса науки в милитаризме, этой заветной науки/технологии совершенного языка, совершенной коммуникации, конечного порядка.



Феминизм предпочитает иную науку: науки и политики интерпретации, перевода, заикания, науки и понятого частично. Феминизм — о науках множественных субъектов, обладающих (хотя бы) двойным зрением. Феминизм — о критическом зрении, вытекающем из критического нахождения позиций в негомогенном гендеризованном социальном пространстве¹⁶. Перевод всегда интерпретативен, критичен и частичен. Здесь и лежит основание для разговора, рациональности и объективности, и речь о чувствительном к вопросу власти, а не плюралистичном «разговоре». И враждебного другого по отношению к феминистским парадигмальным моделям научного знания представляют не мифические шаржи физики и математики, неверно и карикатурно изображенные в антинаучной идеологии как точные, гиперпростые знания, но мечты о совершенно познанном в высокотехнологичных, непременно милитаризованных научных производствах и нахождении позиций, парадигма рационального знания божественной уловки «Звездных войн». Получается, что локация связана с уязвимостью; локация сопротивляется политике закрытия, конечности, или, используя слова Альтюссера, феминистская объективность сопротивляется «упрощению в последней инстанции». Все это потому что феминистское воплощение сопротивляется фиксации и ненасытно любопытствует по поводу сетей различных нахождения позиций. Одной единственной феминистской позиции не существует, поскольку нашим картам нужно слишком много измерений, чтобы использовать эту метафору для обоснования наших зрений. Но цель теоретиков феминистской позиции в достижении эпистемологий и политик ангажированного, подотчетного нахождения позиций, остается в высшей степени убедительной. Цель — лучшие описания мира, то есть «наука».

Главное же то, что рациональное знание не претендует ни на какое высвобождение: на то, чтобы быть везде, а значит, нигде, быть свободным от интерпретаций, от того, чтобы быть репрезенти-

рованным, чтобы быть абсолютно замкнутым или полностью формализуемым. Рациональное знание — это процесс непрерывной критической интерпретации среди «полей» тех, кто интерпретирует и декодирует. Рациональное знание — это чувствительный к отношениям власти разговор¹⁷. Декодирование и транскодирование вместе с переводом и критикой; все это необходимо. Так, наука становится парадигматической моделью не закрытия, но того, что можно оспорить и что оспаривается. Наука становится мифом, но не тем, что ускользает от человеческой агентности и ответственности в территории над схваткой, а подотчетности и ответственности за переводы и солидарности, которые соединяют какофонические взгляды и визионерские голоса, что характеризуют знания угнетенных. Разделение чувств, путаница голоса и взгляда вместо ясных и четких идей становятся метафорой основания рационального. Мы ищем не знания, управляемые фаллогоцентризмом (ностальгией по присутствию единственно верного Слова) и развоплощенным зрением. Мы ищем знания, которые управляются частичным видением и ограниченным голосом, и частичность здесь нужна не ради самой себя, а скорее с целью установления связей и неожиданных открытий, которые делают возможными расположенные знания. Расположенные знания о сообществах, а не об изолированных индивидах. Единственный способ достичь более широкого видения, — это находиться где-то конкретно. Вопрос науки в феминизме — это об объективности как рациональности с определенной позиции. Его образы — это не продукты побега и преодоления пределов (взгляд сверху), но соединение частичных взглядов и неуверенных голосов в позицию коллективного субъекта, которая обещает видение способов непрерывного конечного воплощения, жизни среди пределов и противоречий, взглядов откуда-то.



ОБЪЕКТЫ КАК АКТОРЫ. АППАРАТ ТЕЛЕСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Размышляя об «объективности», я отказалась от разрешения противоречий, встроенных в обращения к науке без различения ее необыкновенно большого количества контекстов. Через эту настойчивую противоречивость я выдвинула на передний план поле сходств, связывающее точные, физические, естественные, общественные, политические, биологические и гуманитарные науки; и я связала все это гетерогенное поле академически (и промышленно, например, в издательском деле, торговле оружием и фармацевтике) институционализированного производства знания со значением науки, которое настаивает на своей актуальности в идеологической борьбе. Но чтобы отчасти ввести в размышления и специфику, и глубоко пористые границы значений в дискурсе о науке, я бы хотела предложить разрешение одного из таких противоречий. В поле значений, конституирующих науку, одно из сходств касается статуса любого объекта знания и связанных с ним претензий на соответствие наших описаний «реальному миру», вне зависимости от того, насколько эти слова могут быть для нас медиированы и насколько они сложные и противоречивые. Феминистки и другие активные критики наук и их претензий или связанных с ними идеологий отошли от доктрин научной объективности отчасти из-за подозрения, что «объект» познания — это пассивная и инертная вещь. Описания таких объектов могут казаться либо апроприацией фиксированного и определенного мира, редуцированного до ресурса инструменталистских проектов разрушительных западных обществ, либо

они могут рассматриваться как маски для, как правило, господствующих интересов.

Например, «пол» как объект биологического знания часто является в облике биологического детерминизма, угрожая хрупкому пространству социального конструктивизма и критической теории с их сопутствующими возможностями активной и изменчивой интервенции, появление которых стало возможно благодаря феминистским концептам гендера как социально, исторически и семиотически позиционированного различия. И все же потерять авторитетные биологические описания пола, которые создали продуктивное напряжение с гендером, кажется слишком большой потерей; это значит потерять не только аналитические возможности внутри определенной западной традиции, но также и само тело как что-то кроме чистого листа для социальных записей, включая таковые из биологического дискурса. Та же проблема потери сопровождается и радикальную «редукцию» объектов физики или любой другой науки до эфемер дискурсивного производства и социального конструктивизма¹⁸.

Но сложностей и потерь можно избежать. Они частично происходят из аналитической традиции, глубоко обязанной Аристотелю и преобразующей историю «Белого Капиталистического Патриархата» (как еще нам назвать эту скандальную Штуку?), которая все превращает в ресурс для апроприации, в которой объект знания в итоге оказывается лишь предметом для осеменяющей власти, действия, знающего [субъекта]. В этом случае объект одновременно гарантирует и освежает власть знающего, но в любом статусе агента в производстве знания объекту отказывается. Если кратко, то он, то есть мир, должен быть объективирован как вещь, а не как агент; он должен быть предметом для самоформирования единственного социального существа в производстве знания, человека знающего. Зои Софулис¹⁹ определила структуру этого режима познания в технауче как «ресурсное обеспечение», как второе рождение Мужчины через гомогенизацию тела всего мира в ресурс для его извращенных проектов. Природа — лишь сырье для культуры, апроприированная, законсервированная, порабощенная, превознесенная или другим путем сделанная гибкой в целях использования культурой в логике капиталистического колониализма. Похожим образом, пол — лишь материя для действий гендера; продуктивистской логики, кажется, невозможно избежать в традиции западных бинарных оппозиций. Эта аналитическая и историческая нарративная логика объясняет мою нервность по поводу различия пола/гендера в недавней истории феминистской теории. Пол становится «ресурсом» для собственной репрезентации в качестве гендера, которую «мы» можем контролировать. Казалось, что едва ли возможно избежать ловушки апроприационной логики господства, встроенной в оппозицию природы/культуры и вытекающих из нее оппозиций, включая разделение пола/гендера.

Кажется ясным, что феминистские описания объективности и воплощения, — то есть мира, — которые обрисованы в этом эссе, требуют обманчиво простого маневра внутри унаследованных западных аналитических традиций, который начинается в диалектике, но резко останавливается перед необходимыми поправками. Расположенные знания требуют, чтобы объект познания изображался как актер или

агент, а не как экран, или основание, или ресурс, чтобы он никогда не изображался как раб своего хозяина, который замыкает диалектику на своей уникальной агентности и своем авторстве «объективного» знания. Эта мысль парадигмально ясна в критических подходах к общественным и гуманитарным наукам, где агентность изучаемых людей сама по себе трансформирует весь проект производства социальной теории. Действительно, примирение с агентностью изучаемых «объектов» — это единственный способ избежать в этих науках серьезных ошибок и ложных знаний разного толка. Но то же необходимо применить и к другим проектам познания, которые называются науками. Следствием настояния на том, что этика и политика скрыто или открыто производят основания для объективности в науках как гетерогенном целом, а не только в общественных науках, является предоставление статуса агента/актора «объектам» мира. Акторы существуют во множестве чудесных форм. Значит, описания «реального» мира не зависят от логики «открытия», но от заряженных властью общественных отношений «разговоров». Мир ни говорит сам за себя, ни исчезает в угоду декодирующему его хозяину. Коды мира не неподвижны в ожидании прочтения. Мир — это не сырье для гуманизации; это сделала ясным последовательная критика гуманизма, еще одна вариация дискурса о «смерти субъекта». В каком-то критическом смысле, на который грубо намекают неуклюжие категории социального или агентности, мир, который встречается в проектах познания, — это активная сущность. Достоверное знание может быть вообразимо и может претендовать на нас, пока научное описание способно взаимодействовать с этим измерением мира как объекта познания. Но ни одна конкретная доктрина репрезентации, или декодирования, или открытия ничего не гарантирует. Подход, который я рекомендую, — это не вариация «реализма», который оказался довольно неудачным способом взаимодействия с активной агентностью мира.

Мой простой, а возможно и простецкий маневр очевидно не нов для западной философии, но в нем есть особая феминистская грань в отношении вопроса науки в феминизме и связанного с ним вопроса о гендере как расположенном различии и вопросе женского воплощения. Вероятно, экофеминистки более других настаивали на некой вариации мира как активного субъекта, а не как ресурса для картирования и апроприации в буржуазных, марксистских и маскулинистских проектах. Признание агентности мира в его познании создает пространство тревожащих возможностей, включая ощущение независимого чувства юмора, присущего миру. Это чувство юмора неудобно для гуманистов и остальных людей, которые относятся к миру как ресурсу. Однако существуют вполне выразительные фигуры, которые могли бы послужить феминистским визуализациям мира как остроумного агента. Нам не нужно бросаться к образу первоматери, отказывающей в своем переводе в ресурс. Койот, или Трикстер, в том виде, в котором он воплощен в описаниях коренных американцев Юго-Запада, может служить образом для ситуации, в которой мы находимся, когда мы отказываемся от того, чтобы быть хозяевами, но продолжаем искать правду, все это время зная, что нас обведут вокруг пальца. Думаю, эти мифы полезны для ученых, которые могут быть нашими союзниками. Феминистская объективность создает пространство для сюрпризов и иронии в сердце всего производства знания;

мы не ответственны за мир. Мы просто тут живем и пытаемся завязать ненаивные разговоры с помощью наших протезов, включая технологии визуализации. Неудивительно, что в современной феминистской теории столь часто обращались к такой практике письма, как научная фантастика. Я хочу видеть феминистскую теорию как переизобретенный дискурс о койоте, обязанную своими источниками множеству гетерогенных описаний мира.

Другая богатая феминистская научная практика последних двадцати лет очень хорошо иллюстрирует «активацию» ранее пассивных категорий объекта познания. Такая активация постоянно проблематизирует бинарные разделения вроде пола и гендера без устранения их стратегической пользы. Я обращаюсь к приматологическим реконструкциям (особенно, но не исключительно, к практикам женщин как приматологов, эволюционных биологов и бихевиоральных экологов) того, что в научных описаниях можно посчитать полом, особенно женским полом²⁰. Тело, объект биологического дискурса, становится самой захватывающей сущностью. Утверждения о биологическом детерминизме никогда не будут прежними. Что-то основательное случилось с биологическими категориями, когда женский «пол» так тщательно ретероретизировали и ревизуализировали, что он оказывается практически неотличим от «разума». Биологические женщины, заселяя современные биологические поведенческие описания, лишаются почти всех пассивных качеств. Она структурирует, она активна во всех отношениях; «тело» — это агент, а не ресурс. Различие биологически теоретизируется как ситуативное, а не имманентное, на всех уровнях от генов до паттернов кормодобычи, таким образом фундаментально изменяя биологическую политику тела. Необходимо категорически переработать отношения пола и гендера, используя эти рамки познания. Я бы предположила, что этот тренд в объяснительных стратегиях биологии — это аллегория интервенций, верных проектам феминистской объективности. Дело не в том, что эти новые образы биологической женщины просто верны или не открыты к спорам и разговорам — как раз-таки наоборот. Но эти образы выводят на передний план знание как расположенный разговор на всех уровнях его артикуляции. Граница между животным и человеком является одной из ставок в этой аллегории, как и между машиной и организмом.

Так что я закончу последней категорией, полезной для феминистской теории расположенных знаний, — аппарате телесного производства. В своем анализе производства стихотворения как объекта литературной стоимости Кейти Кинг предлагает инструменты, которые проясняют положения в дебатах между феминистками по поводу объективности. Кинг вводит термин «аппарат литературного производства», чтобы описать появление литературы на пересечении искусства, бизнеса и технологии. Аппарат литературного производства — это матрица, из которой рождается «литература». Фокусируясь на потенциальном объекте стоимости под названием «стихотворение», Кинг применяет свою аналитическую рамку к отношениям женщин и технологий письма²¹. Я бы хотела адаптировать ее работу к пониманию генерирования — действительного производства и воспроизводства — тел и других объектов стоимости в научных проектах познания. На первый взгляд, существуют

ограничения для использования схемы Кинг, присущие «фактичности» биологического дискурса, которой нет в дискурсе литературном и его претензиях на знание. «Производятся» ли или «генерируются» ли биологические тела в том же смысле, что и стихотворения? В раннем романтизме конца XVIII века многие поэты и биологи верили, что поэзия и организмы связаны сиблинговыми узами. «Франкенштейна» можно понять как размышление об этой пропозиции. Я все еще верю в действенность этой пропозиции, но в постмодернистском, а не романтическом ключе. Я бы хотела перевести идеологические измерения понятий «фактичность» и «органическое» в нескладную сущность под названием «материально-семиотический актер». Цель этого неуклюжего термина — изобразить объект познания как активную, генерирующую смыслы часть аппарата телесного производства, ни в коем случае не подразумевающая непосредственное присутствие таких объектов или, иными словами, их конечное или уникальное определение того, что может считаться объективным знанием в конкретной исторической точке. Как и «стихотворения», являющиеся местами литературного производства, в которых язык также является актором, независимым от намерений и авторов, тела как объекты познания — это материально-семиотические генеративные узлы. Их границы материализуются в социальных взаимодействиях. Границы рисуются в ходе практик картирования; «объекты» как таковые не существуют до этого. Объекты — это проекты границ. Но границы сдвигаются изнутри; границы весьма коварны. Границы временно содержат в себе то, что генерирует и производит значения и тела. Размещение (разглядывание) границ — рискованная практика.

Объективность не об отстранении, но о взаимном и обычно неравном структурировании, о принятии рисков в мире, где «мы» необратимо смертны, то есть не обладаем «полным» контролем. Таким образом, у нас нет ясных и четких идей. Разнообразные противоборствующие биологические тела появляются на пересечении биологических исследований и письма, медицинских и иных коммерческих практик, и технологий, таких как технологии визуализации, которые используются в этом эссе как метафоры. Но в этом узле пересечений есть и нечто аналогичное живым языкам, которые активно переплетаются в производстве литературной стоимости: койот и протейские воплощения мира как остроумного агента и актора. Возможно, мир сопротивляется тому, чтобы быть редуцированным лишь до ресурса, поскольку он не мать/материя/бормотание, но койот, фигура всегда проблематичной, всегда действенной связи между значениями и телами. Феминистское воплощение, феминистские надежды на частичность, объективность и расположенные знания запускают разговоры и коды в этом действенном узле в полях возможных тел и значений. Именно здесь наука, научная фантазия и научная фантастика сходятся в вопросе объективности в феминизме. Возможно, наши надежды на подотчетность, на политику, на экофеминизм запускают пересмотр мира как кодирующего трикстера, с которым нам нужно учиться разговаривать.



ПРИМЕЧАНИЯ

Это эссе изначально было создано в качестве комментария к докладу Сандры Хардинг «Вопрос науки в феминизме» (Science Question in Feminism) на встрече Западного отделения Американской философской ассоциации в Сан-Франциско в марте 1987 года.

Поддержку в ходе моей работы над этим текстом щедро оказал Фонд «Альфа» Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси. Особо благодарю Джоан Скотт, Джуди Батлер, Лилу Абу-Лугод и Доринн Кондо.

1. Например, см. Karin Knorr-Cetina and Michael Mulkay, eds., *Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science* (London: Sage, 1983); Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, and Trevor Pinch, eds., *The Social Construction of Technological Systems* (Cambridge: MIT Press, 1987); и особенно Bruno Latour, *Les microbes, guerre et paix, suivi de irreductions* (Paris: Metailie, 1984) и *The Pastuerization of France, Followed by Ir-reductions: A Politico-Scientific Essay* (Cambridge: Harvard University Press, 1988; русское издание: Бруно Латур. Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015 — далее: Латур). Цитируя Vendredi (Paris: Gallimard, 1967; русское издание: Мишель Турнье, «Пятница или Дикая жизнь». М.: Самокат, 2003), *Les microbes* (p. 171) Мишеля Турнье, Латур блестяще, головокружительно и афористично полемизирует со всеми формами редукционизма и так производит важнейший для феминисток аргумент: «Остерегайтесь чистоты; она разъедает душу» (Латур, с. 268). В иных отношениях Латур не является выдающимся феминистским теоретиком, но его можно сделать таковым с помощью чтения его текстов настолько же извращенным способом, насколько он применяет таковой к лаборатории, этой великой машине производства серьезных ошибок со скоростью, превышающей чьи-либо возможности, что дает ей силу изменять мир. Для Латура лаборатория — это железнодорожная промышленность эпистемологии, где факты могут быть созданы только такими, чтобы они вставали в колею, ведущую из лаборатории. Те, кто контролирует железные дороги, контролируют и окружающую их территорию. Как мы могли это забыть? Но теперь нам пригодились бы не обанкротившиеся железные дороги, а спутниковые сети. Факты сегодня путешествуют на лучах света.

2. Для элегантного и очень полезного разъяснения по поводу этой не карикатурной версии этого аргумента см. Hayden White, *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987). Я же все равно хочу большего; а неудовлетворенное желание может стать плодотворным началом для изменения историй.

3. В докторской диссертации «Сквозь просвет: Франкенштейн и оптика Воз-Рождения» (Калифорнийский университет в Санта-Крус, 1988) Зои Софулис предложила головокружительный (да простит она мне эту метафору) теоретический подход к технонауке, психоанализу культуры научной фантастики и метафорике экстратеррестриализма, включая чудесные уточнения по поводу идеологий и философий света, освящения и открытия в западной мифике науки и технологии. Мое эссе было пересмотрено в диалоге с аргументами и метафорами Софулис в ее диссертации.

4. Nancy Hartsock, *Money, Sex, and Power: An Essay on Domination and Community* (Boston: Northeastern University Press, 1984).

5. Для этой дискуссии важны такие тексты, как: Sandra Harding, *The Science Question in Feminism* (Ithaca: Cornell University Press, 1987); Evelyn Fox Keller, *Reflections on Gender and Science* (New Haven: Yale University Press, 1984); Nancy Hartsock, *The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism* в *Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, and Philosophy of Science*, eds. Sandra Harding and Merrill B. Hintikka (Dordrecht, The Netherlands: Reidel, 1983): 283–310; Jane Flax, *Political Philosophy and the Patriarchal Unconscious*, в *Discov-*

ering Reality, 245–281; и Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory, Signs 12 (Summer 1987): 621–643; Evelyn Fox Keller and Christine Grontkowski, The Mind's Eye, в Discovering Reality, 207–224; Hilary Rose, Women's Work, Women's Knowledge в What Is Feminism? A Re-Examination, eds. Juliet Mitchell and Ann Oakley (New York: Pantheon, 1986), 161–183; Donna Haraway, A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s, Socialist Review, no. 80 (March–April 1985): 65–107 (русское издание: Донна Харауэй. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017); Rosalind Pollack Petchesky, Fetal Images: The Power of Visual Culture in the Politics of Reproduction, Feminist Studies 13 (Summer 1987): 263–292.

Аспекты дебатов о модернизме и постмодернизме влияют на феминистские анализы проблемы «объективности». Картируя разлом между модернизмом и постмодернизмом в этнографии и антропологии, где важнейшей проблемой является дозволение или запрет производить знание в виде сравнения «культур», Мэрилин Стратерн сформулировала существенное наблюдение, согласно которому аналогом произведения искусства как объекта-познания являются не этнографические записи, но культура. На одной стороне этого разлома находятся романтические и модернистские природно-технические объекты познания в науке и других культурных практиках. На другой стороне находится постмодернистская формация с ее «анти-эстетикой» постоянно расщепленных, проблематизируемых, всегда удаляющихся и отсроченных «объектов» знания и практики, включая знаки, организмы, системы, самости и культуры. «Объективность» в постмодернистском изводе не может касаться непроблематичных объектов; она должна применяться к специфическим протезам и всегда частичным переводам. В корне своем объективность заключается в создании сравнительного знания: как сообщество может называть вещи так, чтобы они были стабильны и похожи друг на друга? В постмодернизме эта проблема переводится в вопрос политики переопределения границ в порядке, который обеспечил бы ненаивные разговоры и связи. В дебатах о модернизме и

постмодернизме решается вопрос паттерна отношений между телами и языком и внутри них. Для феминисток это важнейший вопрос. См. Marilyn Strathern, Out of Context: The Persuasive Fictions of Anthropology, Current Anthropology 28 (June 1987): 251–281 и Partial Connections, Munro Lecture, University of Edinburgh, November 1987, рукопись не опубликована.

6. Harding, с. 24–26, 161–162.

7. Научно-фантастический рассказ Джона Варли The Persistence of Vision, опубликованный в сборнике The Persistence of Vision (New York: Dell, 1978), 263–316), частично вдохновил эту главу. В этом рассказе Варли конструирует утопическое сообщество, спроектированное и построенное слепоглухими. Затем он исследует технологии этих людей и другие средства коммуникации и их отношения со зрячими детьми и гостями. В рассказе Blue Champagne, опубликованном в одноименном сборнике (New York: Berkeley, 1986), 17–79, Варли преобразовывает эту тему, чтобы исследовать политику интимности и технологии на примере парализованной молодой женщины, чей протез, золотой швартовый барабан, позволяет ей быть полностью мобильной. Но поскольку это невероятно дорогое устройство принадлежит межгалактической медиаразвлекательной империи, на которую она работает как медиазвезда, делающая «чувстви», она может сохранить свою технологичную, интимную, уполномоченную, другую себя только в обмен на соучастие в коммодификации всего опыта. Каковы ее пределы в переизобретении опыта на продажу? Находится ли личное политическое под знаком симуляции? Повторяющиеся исследования Варли по поводу всегда ограниченных воплощений, инаково способных существ, технологий-протезов и столкновений киборгов со своей конечностью, несмотря на экстраординарное преодоление «органического» порядка, можно прочесть как поиск аллегории для личного и политического в исторической мифической эпохе конца XX века, эре технобиополитики. Протез становится фундаментальной категорией для понимания наших самых интимных частей себя. Протез — это семиозис, создание значений и тел не ради

трансценденции, но с целью коммуникации, заряженной вопросом власти.

8. C. D. В Bryan, *The National Geographic Society: 100 Years of Adventure and Discovery* (New York: Harry N. Abrams, 1987), 352.

9. Осознанием опыта, который предоставляю эти фотографии, я обязана Джиму Клиффорду из Калифорнийского университета в Санта-Крус, который обозначил их эффект, производимый на читателя, как моряцкий восклик «Земля!».

10. Bryan, 454.

11. См. Hartsock, *The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism* и Chela Sandoral, *Yours in Struggle: Women Respond to Racism* (Oakland: Center for Third World Organizing, n. d.); Hardings; и Gloria Anzaldua, *Borderlands/La Frontera* (San Francisco: Spinsters/Aunt Lute, 1987).

12. Annette Kuhn, *Women's Pictures: Feminism and Cinema* (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), 3–18.

13. Джоан Скотт напомнила о следующих формулировках Терезы де Лауретис: «Различия между женщинами можно лучше понять как различия в женщинах. <...> Но понятие в своей конституирующей силе (то есть понимание того, что эти различия не просто конституируют сознание каждой женщины и ее субъективные пределы, но в общей сложности определяют женский субъект феминизма во всей его специфичности как врожденное и пока что непреодолимое противоречие), эти различия, следовательно, не могут вновь коллапсировать в фиксированную идентичность, похожесть всех женщин как Женщины или репрезентацию феминизма как целостного и доступного образа». См. Theresa de Lauretis, *Feminist Studies/Critical Studies: Issues, Terms, and Contexts* в ее книге *Feminist Studies/Critical Studies* (Bloomington: Indiana University Press, 1986), 14–15.

14. Chandra Mohanty, *Under Western Eyes, Boundary 2 and 3* (1984): 333–358.

15. См. Sofoulis, неопубликованная рукопись.

16. В «Вопросе науки в феминизме» (с. 18) Хардинг делает предположение, что у гендера есть три измерения, каждое из которых исторически специфично: гендерный символизм, общественно-сексуальное разделение труда и процессы конструирования индивидуальных гендеризованных идентичностей. Я бы расширила ее мысль, отметив, что нет причин ожидать, что эти три измерения ковариантны или же соопределяют друг друга, по крайней мере, не напрямую. Например, очень глубокие различия между контрастирующими понятиями в гендерном символизме вполне могут не коррелировать со строгими общественно-сексуальными разделениями труда или общественной властью, но могут быть тесно связаны со строгой расовой стратификацией или чем-то еще. Похожим образом, процессы формирования гендеризованного субъекта не обязательно напрямую объясняются знанием о сексуальном разделении труда или гендерном символизме в изучаемой определенной исторической ситуации. С другой стороны, стоит ожидать наличия опосредованных отношений между этими измерениями. Медиации могут пересекать довольно разные социальные оси организации как символов, так и практики и идентичности, как например, расу, и наоборот. Я бы также предположила, что науку, как и гендер или расу, можно эффективно разложить на подобную многочастную схему, включающую символизм, социальную практику и позицию субъекта. Если провести такую параллель, то возникает необходимость большего количества измерений. Разные измерения, допустим, гендера, расы и науки могут медиировать отношения между измерениями в соседней схеме. Например, расовые разделения труда могут медиировать паттерны связей между символическими связями и формированием индивидуальных субъектных позиций в подобных схемах, относящихся к науке или гендеру. Или формирования гендеризованной или расовой субъектности могут медиировать отношения между научным общественным разделением труда и научными символическими паттернами.

С помощью таблицы снизу можно приступить к анализу параллельных срезов. В этой таблице

(и в реальности?) и гендер, и наука аналитически асимметричны; то есть каждый термин содержит и скрывает структурирующую иерархичную бинарную оппозицию, пол/гендер и природа/наука. Каждая бинарная оппозиция упорядочивает молчаливый термин с помощью логики апроприации как ресурс для продукта, природу для науки, потенциальное для актуального. Оба полюса оппозиции диалектически конструируют и структурируют друг друга. В каждом озвученном или выраженном понятии можно извлечь дальнейшие асимметричные расщепления, например из гендера — маскулинное и феминное, а из науки — точные науки и общественные науки. Этот метод напоминает нам как работают определенные аналитические инструменты, поневоле или нет. Таблица отражает общие идеологические аспекты дискурса о науке и гендере и может быть использована как аналитический инструмент для вскрытия мистифицированных единиц вроде Науки или Женщины.

17. Katie King, *Canons without Innocence* (Ph.D. diss., University of California at Santa Cruz, 1987).

18. Эвелин Фокс Келлер в Evelyn Fox Keller, *The Gender/Science System: Or, Is Sex to Gender As Nature Is to Science?* (*Hypatia* 2 [Fall 1987]: 37–49) настаивает на важных возможностях, открывающихся конструированием пересечений в разделении между полом и гендером с одной стороны и природой и наукой с другой. Она также настаивает на необходимости держаться некоторых недискурсивных оснований «пола» и «природы», которые я, вероятно, называю «телом» и «миром».

19. См. Sofoulis, глава 3.

20. Donna Haraway, *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science* (New York: Routledge & Kegan Paul), forthcoming Spring 1989.

ГЕНДЕР	НАУКА
Символическая система	Символическая система
Общественное разделение труда (на основе пола, расы и т. д.)	Общественное разделение труда (например, на основе ремесленной или промышленной логики)
Индивидуальная идентичность / позиция субъекта (желанная/желающая; автономная/зависимая)	Индивидуальная идентичность / позиция субъекта (познающая/познаваемая; ученая/кто-то другой)
Материальная культура (например, атрибуты гендера и бытовые гендерные технологии, узкая колея, по которой передвигается гендерное различие)	Материальная культура (например, лаборатория, узкая колея, по которой передвигаются факты)

21. Katie King, prospectus for “The Passing Dreams of Choice... Once Before and After: Audre Lorde and the Apparatus of Literary Production” [MS, University of Maryland, College Park, Maryland, 1987].